

Иван Иванович Савин

Плен



Иван Савин

Плен

«Public Domain»

1922

Савин И. И.

Плен / И. И. Савин — «Public Domain», 1922

ISBN 978-5-457-13020-3

В повести «Плен» Савин описал не только легион разорителей русской земли, жестоко мстивших оставшимся белым (за то, что часть армии ушла морем), но заметил и тех, в ком жив свет Божий – сострадание к ближнему. «... Предполагаемая простуда оказалась возвратным тифом. Я попал в джанкойский железнодорожный (2-ой) лазарет. После одного из приступов я узнал от санитаря, что Перекоп взят красными. Надеяться на пощаду со стороны советской власти я ни в какой степени не мог: кроме меня, в белой Армии служило еще четыре моих брата – младший из них, как оказалось впоследствии был убит в бою с красными под Ореховом, в июле 1920 г., второй пал в бою под ст. Ягорлыцкой, в феврале 1920 г., двое старших были расстреляны в Симферополе, в ноябре 1920 г. Идти пешком к югу, совершенно больной, я не мог: лазарет в целом, почему-то эвакуирован не был...»

ISBN 978-5-457-13020-3

© Савин И. И., 1922
© Public Domain, 1922

Содержание

Предисловие к очерку «Плен»	5
I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Иван Савин

Плен

Предисловие к очерку «Плен»

После отхода Русской Армии из северной Таврии, 3-й сводный кавалерийский полк, куда входили, в виде отдельных эскадронов, белгородские уланы, ахтырские уланы и стародубские драгуны, был назначен в резерв. По дороге в тыл, несколько человек солдат 3-го полка, в том числе и я – от уланского эскадрона – были посланы за фуражом на станцию Таганаш.

Когда отряд, под начальством и с людьми ротмистра Прежславского, возвращался к месту стоянки полка, я почувствовал себя настолько плохо, что вынужден был, с разрешения г. ротмистра, остаться по дороге в одной из немецких колоний, название которой уже улетучилось из моей памяти. Предполагаемая простуда оказалась возвратным тифом. Я попал в джанкойский железнодорожный (2-ой) лазарет.

После одного из приступов я узнал от санитаря, что Перекоп взят красными. Надеяться на пощаду со стороны советской власти я ни в какой степени не мог: кроме меня, в белой Армии служило еще четыре моих брата – младший из них, как оказалось впоследствии был убит в бою с красными под Ореховом, в июле 1920 г., второй пал в бою под ст. Ягорлыцкой, в феврале 1920 г., двое старших были расстреляны в Симферополе, в ноябре 1920 г. Идти пешком к югу, совершенно больной, я не мог: лазарет в целом, почему-то эвакуирован не был.

Ожидалась отправка последнего поезда на Симферополь. С помощью санитаров я и мой сосед по палате сели в товарный вагон. Через два часа все станции к югу от Джанкоя были заняты советскими войсками. Поезд никуда не ушел. Нам посоветовали возможно скорее возвратиться в лазарет, где встреча с красными была бы все же безопаснее, чем в вагоне. Сосед идти без посторонней помощи не мог (раздробление кости в ноге), я буквально дополз с вокзала к лазарету – шагов четыреста всего. Посланные санитары в вагоне соседа моего не нашли. На следующее утро красные заняли Джанкой и разбили ему голову прикладом, предварительно раздев.

Первыми ворвались в Крым махновцы и буденовцы. Их отношение к пленным можно было назвать даже в некоторой степени гуманным. Больных и раненых они вовсе не трогали, английским обмундированием брезгали, достаточно получив его в результате раздевания пленных на самом фронте. Интересовались они только штатским платьем, деньгами, ценностями. Ворвавшаяся за ними красная пехота – босой, грязный сброд – оставляла пленным только нижнее белье, да и то не всегда. Хлынувший за большевистской пехотой большевистский тыл раздевал уже догола, не брезгая даже вшивой красноармейской гимнастеркой, только что милостиво брошенной нам сердобольным махновцем.

Приблизительно через неделю меня, вместе с другими еле державшимися на ногах людьми, отправили в комендатуру «на регистрацию». В комендантском дворе собралось несколько тысяч пленных в такой пропорции: четыре пятых служивших когда-нибудь в красных рядах, одна пятая – чисто-белых. Я принадлежал к последней категории, почему и был избит до крови каким-то матросом в николаевской шинели. Сперва нас думали опрашивать, но это затянулось бы на месяцы (тысячи пленных все прибывали с юга). В конце концов, составив сотни, нас погнали на север.

I

По серому больничному одеялу шагал крошечный Наполеон. Помню хорошо, вместо глаз у него были две желтые пуговицы, на треугольной шляпе красноармейская звезда, а в левой, крепко сжатой в кулак, руке виднелась медная проволока.

Наполеон шагал по одеялу и тянул за собой товарные вагоны – много, тысячи, миллионы буро-красных вагонов. Когда бесчисленные колеса подкатывались к краю кровати и свисали вниз дребезжащей гусеницей, Наполеон наматывал их на шею, как нитку алых бус и кричал, топая ногами в огромных галошах:

– Вы, батенька мой, опупели, вы совсем опупели...

Наполеон шагал по одеялу, звенел шпорами из папиросной бумаги, просачивался сквозь серую шерсть, таял, и из пыльной груды вагонов выползала Веста – охотничья собака старшего брата.

У Весты длинный язык, со скользкими пупырышками, пахнул снегом, водными лилиями и еще чем-то таким, от чего еще бессильнее становились мои руки под одеялом. Собака лизала мне подбородок, губы, нос, волосы, рвала подушку, лаяла...

Потом Веста рассыпалась рыжим дымом, таяла, и у кровати появлялось длинное белое пятно с красным крестом наверху. Пятно наклонялось надо мной, дыша йодом и выцветшими духами, жгло лоб мягкой ладонью, спрашивало:

– У вас большой жар, милый? Да?..

Так шли часы, дни. Может быть, было бы лучше, если бы очередной приступ обрезал их тонким горячим ножом. Не знаю. Может быть!

Когда пугливая неуверенная мысль, впервые после долгого бреда, промыла глаза и осеннее солнце запрыгало по палате, у дверей стоял санитар в черной шинели с коричневым обшлагом на рукаве и говорил дежурной сестре эти невероятно-глупые слова:

– Перекоп взят!

...Еще в конце, даже в начале сентября в северной Таврии наступили такие холода, что из озябших пальцев, выпадали поводья. Еще в сентябре, перебрасываемые с одного фронта на другой, мы жгли по пути костры, поднимали воротники шинелей и часто, чтобы согреться, вели коней в поводу. Теперь, в последних числах октября, вечер был необычайно свеж. Рельсы поблескивали не то росой, но то инеем. Наверху, в спутанном клубке холодных облаков, плыла совсем северная луна – бледно желтая, с затушёванными краями.

Джанкой – так похожий на еврейское местечко Юго-Западного края, не будь в нем чего-то татарского, – спал или притворялся, что спит, и в этом обычном для периода безвластия безмолвии было что-то зловещее, жуткое. То и дело, отдыхая у серых стен, я старался не уронить из памяти одного:

– Надо поскорей добраться до лазарета и сказать, чтобы за донцом послали санитаров... Он лежит в том же вагоне... Ноги распухают, самому ему не подняться...

Но как вспомнить дорогу? Как мы шли тот раз? Я вглядывался в холодную темень – и ничего не видел и не понимал.

В глазах вертелись огненные колеса, редкие деревья, заборы, крыши сливались в серое пятно.

Когда я остановился на небольшой площадке, окруженной какими-то казенного типа сараями, и думал: теперь, кажется, направо... вон туда, где трава... – сзади показался разъезд из пяти человек. Кони осторожно ступали по сбитой мостовой, слышался говор. Я прильнул к стене, покрытой тенью колодца, – разъезд проехал мимо, потревожив влажную пыль. У переднего на длинном ремне болтался большой маузер, до бровей спустилась остроконечная шапка. Задний сказал, зевая:

– Никого тут уже нету, товарищи. Айда обратно! – и круто повернул вороного конька...

Только к ночи я попал, наконец, в лазарет и лег в свою кровать, охваченный шестым приступом. Парня с глуповатым, но ехидным лицом не было – он ушел «добывать» табак и сахар. За донцом послали другого санитаря – он не нашел его. Отложили до утра.

А утром, когда Джанкой уже был занят красными, донца нашли в вагоне с проломленной прикладом головой и раздетого догола. Окровавленное лицо его было кошунственно огажено.

Не пришел больше Наполеон с двумя желтыми пуговицами вместо глаз, с длинной цепью бурых вагонов, не шевелила пупырчатым языком Веста, не наклонялось надо мной белое пятно с красным крестом наверху. Ничего. Только серая, тягучая липкая пелена плыла перед широко открытыми глазами, да изредка прорывались сквозь нее обрывки чьих-то фраз и хмурые шарики солнца – осеннего, чужого.

– Потому, как я красный командир, – сказал кто-то, открывая окно, от чего струя холодного воздуха колыхнулась в палате, – то мне издеся недолго валандаться. Другие прочие, может, в расход, а я – роту даешь! Послужим... В углу засмеялись? Кажется, Осипов?

– Как же ты – командир, а белым в плен сдался? Подштанников не запачкал? Сморкач ты, а не командир...

Ротный, беспрестанно икая, ответил что-то громко и раздраженно. Взвизгнула за окном гармоника. Прогремело что-то... Как будто броневик. Я приподнялся, вслушиваясь, а серая липкая пелена обвила голову, наливая ее ноющим звоном. Опять лег, тревожно осматривая высокого старика, подходившего ко мне с записной книжкой в трясущихся руках.

– Кто это? – подумал я. – Беспокойные черные глаза, шрам на правом виске... на темно-синем халате белая дорожка слюны... Идет, подпрыгивает... Кто это? Боже! Я не помню...

Старик погладил спинку моей кровати и залепетал скороговоркой, задыхаясь и брызгая слюной:

– Я вас записал... вот сюда... придут они – я скажу, что вы... вы хотели удрать... а поезда не было... Поезда... Не просите... таковы законы, не имею права... не просите!

Бессмысленно улыбаясь, я долго смотрел на прыгающие в бреду черные глаза... Полковник Латин... Да, полковник Латин.

– Дайте мне воды, господин полковник... Вот, на столике... Глупости записывать... Вот... Мне трудно самому... Пожалуйста!

Латин обнял обеими руками графин, уронил его на одеяло, сел на пол и вдруг заплакал, собирая с одеяла воду записной книжкой.

– Задержать противника, а у меня люди... Я им: в цель!.. Но поймите... Задержать, а самурцы...

К ночи он умер – сердце не выдержало.

Высокой ли температуры? Думал ли о красной мести?

«На тонкой паутинке колыхнется сердце человеческое. Качнешь сильнее – и нет его...» (Иннокентий Анненский).

Когда увозили Латина в покойницкую, вздыхали сестры и сдержанно покрикивал доктор, резко похудевший в эти дни, в палату вошел красный офицер, изысканно одетый. Это был первый визит победителей со дня занятия Джанкоя.

Сразу все стихло. Санитары опустили тело Латина на первую попавшую койку. Старшая сестра – я никогда не забуду вашей удивительной ласковости – нервно оправила косынку и прижала к груди руку – маленькую, пухлую, с детскими пальцами.

– Старший врач джанкойского... лазарета, – сказал доктор, для чего то комкая историю болезни умершего полковника.

Офицер беглым взглядом окинул палату. Необыкновенно красивое, немолодое уже, с тонкими чертами лицо было замкнуто и спокойно... На зеленой тужурке с орденом крас-

ного знамени под нашивным карманом, отчетливо выделялась кисть руки изящного рисунка. Может быть, гвардеец... – подумал я горько.

– Ага, хорошо... – сказал офицер, слегка картавя. – Кто у вас здесь?

– Пленные...

– Белые, красные?

– Собственно говоря, они все белые... – доктор с досадой кашлянул, – то есть, я хотел сказать, что все они служили у Врангеля, но некоторые раньше были в вашей армии.

– В какой?

– В красной армии...

– Почему же «в вашей»?

– Простите, я ошибся.

– Ага... хорошо. Федор, неси сюда пакет!

Упитанный красноармеец в кавказской бурке, с серебряным кинжалом, но в лаптях – (...Господи! – вскрикнул в углу Осипов) – принес из коридора большой сверток, стянутый винтовочным ремнем, и почтительно удалился...

– Вот здесь, – сказал офицер, сухо глядя на доктора, – папиросы, сахар и сушеные фрукты. Раздайте поровну вашим больным. Всем без исключения – и белым и красным и зеленым, если у вас таковые имеются. Я сам бывал в разных переделках, так что знаю. Все мы люди... Прощайте!

Круто повернулся на каблуках и направился к дверям, по дороге остановился у безнадежно больного туберкулезом ротмистра Р. и спросил с безучастной сердечностью (бывает такой оттенок голоса, когда кажется, что движет не чувство, а долг, к которому хочется следовать, обязанность, воспитание):

– Ты в какой части был, братец?

– В той, которая с удовольствием повесила бы тебя, красный лакей, лизоблюд совдепский. Пошел вон!

Офицер невозмутимо пожал плечами.

– Не нервничайте, это вам вредно! – И вышел. Доктор принялся развязывать пакет.

Больные обступили судорожно кашляющего, крича, смеясь и ругаясь. Особенно неистовствовал бывший красный командир:

– Хошь он, видать, и царский офицер, а душевный человек, с помощью к нам пришел. Надо тоже понятие иметь, сыр ты голландский! Чего окрысился так? Думаешь, может? Все одно, не сегодня так завтра сдохнешь!

А я?... Какая то скрытая, мучительная правда почудилась мне в ответе ротмистра. Что-то большее, чем раздражение обреченного было в этих злых словах, в этом презрении полумертвого к обидной милостыне врага, когда-то бывшего, быть может, другом.

По приказу джанкойского коменданта направлять в его распоряжение всех выздоравливающих – из лазарета ежедневно выбывало по несколько еле державшихся на ногах человек, которых специально присланный санитар отводил на «фильтрацию» в особую комиссию при комендатуре.

Фильтрация заключалась в коротком допросе, долгом истязании, голодовке, заполнении анкет и распределении опрошенных и избитых по трем направлениям: наряды красной армии, преимущественно пехоты, в Мелитополь – для дальнейшего выяснения личности (захваченные в плен на юге Крыма направлялись в Симферополь) и на полотно железной дороги – под расстрел.

Судя по заслугам перед революцией.

Дней через пять после визита сердобольного военспеца из лазарета были выписаны трое: крестьянин Харьковской губернии Петр Ф. доброволец и потому очень беспокоившийся за свою судьбу, поразительно мягкой души человек, развлекавший весь лазарет

мастерским исполнением известной малороссийской песни на слова Шевченко: «Рече тай стогнэ Днипр широкий» – житель города Ставрополя, Поликарп Кожухин, за последние шесть лет носивший мундир семи армий: – Императорской, красной, армии адмирала Колчака, Добровольческой – генерала Деникина, петлюровской, польской и Русской армии – ген. Врангеля, не считая кратковременного пребывания в казачьих повстанческих отрядах и у Махно. Он был заразительно весел, уверял нас, что «жизнь есть колбаса, только надо уметь есть ее с обоих концов сразу» и бодро смотреть на будущее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.